

**Максим
Осипов** | Волною
морскою

СОРТУС



Настоящая литература,
по временам страшная своей
простой правдивостью.

Юрий Норштейн

Максим Осипов

Волною морскою (сборник)

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6715528
Волною морскою: АСТ: CORPUS; М.; 2014
ISBN 978-5-17-083648-2

Аннотация

Это четвертая книга Максима Осипова в издательстве Corpus, она включает восемь произведений. Все они написаны в жанре “длинных коротких историй” (маленькие повести, большие рассказы) на материале российской действительности, наблюдаемой с разных сторон: из провинции, из столицы или извне, из Америки. Герои Осипова – наши современники, однако заняты они вопросами вневременными, окончательных ответов на которые, как правило, не находят. И, возможно, именно такая авторская позиция позволяет освещать действительность много ярче, чем любое законченное, взвешенное мировоззрение.

Максим Осипов – лауреат и финалист множества литературных премий, присуждаемых за малую прозу, его сочинения переведены на французский, английский, а пьесы идут в нескольких театрах страны.

Содержание

Польский друг	4
Кейп-Код	10
1	10
2	15
3	20
4	25
5	29
Москва – Петрозаводск	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Максим Осипов

Волною морскою

Польский друг

Рассказ

История начинается не с анекдота: анекдот разрушает, уничтожает ее. “Как Ока? – Ко-ко-ко”. Конец, смех. Истории надо расширяться, двигаться.

Вот девочка прилетает в большой западноевропейский город. В одной руке – сумка, в другой – скрипичный футляр. Молодой пограничник спрашивает о цели приезда. Долго рассказывать: надо кое-кому поиграть, один инструмент попробовать... Девочка плохо знает язык, отвечает коротко:

– Тут у меня друг.

Пограничник разглядывает ее паспорт: надо же, почти сверстники, он думал – ей лет пятнадцать. А почему виза польская? Он пустит ее – Евросоюз, Шенгенское соглашение, – но она должна объяснить.

Польскую визу получить легче любой другой. После небольшой паузы девочка говорит:

– В Польше у меня тоже друг.

Пограничник широко улыбается. Ничего, главное, что пустил.

Это уже начало истории.

Девочка учится музыке лет с шести, как все – со старшего дошкольного возраста, теперь она на четвертом курсе консерватории. Ее профессору сильно за восемьдесят, всю свою жизнь она посвятила тому, чтобы скрипка звучала чисто и выразительно. В целом свете не сыщешь педагога славней.

– Слушай себя, – говорит профессор. Это в сущности все, что она говорит. – Что с тобой делать, а?.. Подумаешь, она любит музыку. Вот и слушай ее на пластинках. Ну, что ты стоишь? Играй уже.

Выдерживают не все, но в общем выдерживают. Один и тот же прием приходится повторять годами, пока она вдруг не скажет: была б ты не такой бестолковой... Значит, вышло и будет теперь выходить всегда.

На сегодня закончили. Девочка укладывает скрипку в футляр.

– Скажи, – неожиданно спрашивает профессор, – а на каком инструменте ты в детстве хотела играть?

Странный вопрос. На скрипке конечно же.

Профессор как будто удивлена:

– И как это началось?

Так, объясняет девочка, на старой квартире скрипка была, восьмушка, даже без струн, и вот она повертелась с ней перед зеркалом...

Профессор произносит в задумчивости:

– Значит, твоя мечта сбылась?..

Что это было – вопрос или утверждение? И кого она вообразила себе в тот момент – не эту ли свою ученицу лет через шестьдесят? Или что-нибудь вспомнила?

Мы рассматриваем фотографии тысяча девятьсот тридцать четвертого года. На них будущему профессору десять лет. Те же правильные черты, отстраненность, спокойствие.

Программка: детский концерт – Лева, Яша, она. Если бы снимки были лучшего качества, то слева на шее у каждого из детей мы бы заметили пятнышко, по нему можно опознать скрипача.

Следом еще фотографии, из эвакуации, и снова Лева, Яша, с взрослыми уже программами, еще – Катя и Додик, так и написано. “Значит, твоя мечта сбылась...” – тоже, конечно, история, но развернуть ее не получится, не нарушив чего-то главного, чего словами не передашь.

“Одной любви музыка уступает”, так сказано. Уступает ли?

Вернемся к польскому другу: вскоре он опять помог девочке.

Из Европы она привезла себе редкой красоты бусы, и на вопрос одной из приятельниц (именно так, нет у нее настоящих подруг) ответила, сама не зная зачем: – Польский друг подарил.

Приятельница тоже скрипачка, многословная, бурная – пожалуй что чересчур. Иногда, впрочем, ей удаются яркие образы:

– Открываешь окно, а там... военный! – Так она передает свои ощущения от какой-то радостной модуляции.

Замуж тут собралась, удивила профессора:

– Замуж? Она же еще не сыграла Сибелиуса!

Пришлось приятельнице к другому преподавателю перевестись.

– Рада за тебя, подруга, – отзывается она по поводу бус. – Думала, так и будешь одна-одинешенька, как полярный кролик.

Так польский друг стал приобретать кое-какое существование. А вскоре выручил, как говорится, по-взрослому.

Найти скрипку – такую, чтобы она разговаривала твоим голосом, – всегда случай. У этой, внезапно встреченной, про которую вдруг поняла, что с ней уже не расстанется, звучание яркое и вместе с тем благородное. Не писклявое даже на самом верху. Итальянская, по крайней мере наполовину, среди скрипок тоже встречаются полукровки: низ от одной, верх от другой. Нестарая – так, сто с чем-то лет. Добрый человек подарил, сильно немолодой. Много всего любопытного остается за скобками, но ни девочка и уж ни мы тем более никогда не узнаем подробностей. Человек добрый и обеспеченный и с большой совестью, а у кого из добрых людей она не больна? Подарил с условием, что она никому не станет рассказывать.

Приятельнице тоже понравилась скрипка.

– Сколько? Для смеха скажи.

Девочка пожимает плечами: какой уж тут смех?

– Опять польский друг подарил? Да-а, страшно с такой по улице.

– А с ребенком не страшно по улице? – Приятельница уже родила.

– Никогда не любила поляков, – признается она. – Зря, получается?

Получается, зря.

– Гордые они, с гонором.

Девочка друга в обиду не даст.

– Это не гонор, – отвечает она, – это честь.

– Он приезжает хоть?

– Ничего, если я не буду тебе отвечать?

Приятельница все про себя рассказывает – и про мужа, теперь уже бывшего, и про того или тех, с кем встречается. Какие там тайны? – подумаешь, ерунда!

– Как зовут его, можно узнать? – Обиделась: – И целуйся с ним, и пожалуйста.

Так о польском друге становится известно в консерватории. Щедрый, со вкусом, есть чему позавидовать. “В тихом омуте черти водятся”, говорят про девочку люди опытные. Но они ошибаются: в этом омуте нет никаких чертей.

Окончание консерватории – дело хлопотное. Хочется для экзамена по ансамблю выучить что-нибудь необычное. Девочка слушает музыку для разных составов, вот – трио с валторной, может – его? Спрашивает у валторниста с курса, считается, лучшего:

– Знаешь такую музыку?

– Нет.

– А хочешь сыграть?

Валторнист прислушивается к себе.

– Нет.

На госэкзамене пришлось обойтись без валторн.

Теперь, когда консерватория позади, нам вместе с девочкой надо переместиться в будущее. Не только слушать, смотреть, записывать, но и угадывать, воображать. Можно ли, например, было предвидеть будущее детей с той фотографии тридцать четвертого? Вероятно, да. Потому что, во-первых, случайностей нет, а во-вторых, судьба – одна из составляющих личности, ее часть.

Конечно, многие внешние обстоятельства угадать нельзя. Пусть случайностей нет, но неопределенность, и очень большая, имеется. Например: сохранится ли наша сегодняшняя страна? Ее предшественница при всей своей мощи оказалась недолговечнее обыкновенной скрипки, для которой семьдесят лет – считай, ничего, несерьезный возраст, семидесятилетние инструменты выглядят совершенно новыми, ни одной трещины, мастера даже их пририсовывают иногда. Теперь нам кажется, что стране нынешней, наследнице той, в которой выросли Лева с Яшей и Катя с Додиком, не уготована длинная жизнь, трещинам на теле ее нет числа, и она распадется, рассыплется, хотя, возможно, получится и не так. Не надо выдумывать, пусть история сама развивает себя.

Или вот: новая техника. Зачем уделять внимание вещам, которые обновляются столь стремительно? Лева с Яшей прожили жизнь, ничего не узнав о компьютерах и, говоря откровенно, вряд ли хотели бы знать. До совершенства всем этим штукам еще далеко, имеет ли смысл разбираться в том, как они устроены? Опять-таки: на чем станут люди перемещаться лет через тридцать, к окончанию нашей истории? С помощью каких устройств будут переговариваться, на чем слушать музыку? Не хочется фантазировать, да и не все ли равно?

Кое в чем мы, однако, уверены. Смычки будут по-прежнему обматывать серебряной канителью или китовым усом, в колодки – вставлять перламутр, а на детских скрипках, восьмушках и четвертушках, не перестанут появляться тонкие дорожки соли, от слез: дети играют и плачут, не останавливаясь, не прекращая играть.

На серьезные вещи – на политику, экономику – музыка влиять не начнет, а если и поучаствует в них, то по касательной, косвенно. Выяснилось ведь недавно, что, когда дети находились в эвакуации, производитель роялей “Стейнвей” договорился с американским командованием, и оно разбомбило “Бехштейн”, конкурента, разнесло его в пыль, до последней клавиши. Наивно себе представлять мировую историю как соперничество фортепианных фабрик, тем более что ни “Ямаха”, ни “Красный октябрь” ни в чем таком не замешаны. Зато приблизительно в те же дни рябое низкорослое существо отпустит шуточку в адрес германского друга, бывшего: у него, скажет он, – Геббельс, а у меня – Гилельс. Чувства, которые вызывает эта острота, убеждают нас в ее подлинности, в том, что именно он ее произнес.

Впрочем, за этой политикой мы уклонились от главной темы – отношений девочки с польским другом. Рывками и с повторами история идет вперед.

Поездки, поездки – на фестивали, на конкурсы: не жизнь, а сплошной рев турбин, стук колес, вряд ли за следующие десять-пятнадцать лет возникнут новые виды транспорта. После тридцати двух уже не играют на конкурсах, но появляются первые ученики. Разумеется, будет всякое, человеческое, как в любом деле, но не они решают – не интриги, скандалы и закулисные договоренности. В чем разница между скрипачом, который, стоя перед оркестром, исполняет концерт Сибелиуса, и теми, кто ему сидя аккомпанирует? – они тоже умеют этот концерт играть. Уровень притязаний, личности? Говорят: судьба – но это ведь все равно как ничего не сказать.

По возрасту вовсе не девочка, она сохранит, закрепит что-то детское в своем облике. Артисту необходима поза – слово нелестное для профессии, зато точное. Хирургу, учителю, даже военному – им тоже требуются, как угодно: молодцеватость, индивидуальное отношение, – а уж артисту без позы не обойтись. И большая удача, если твоя фигура, тонкая, чуть угловатая, и детское выражение лица соответствуют тому, что ты делаешь, если в тебе самой от игры возникают и радость, и свежесть, и удивление.

Итак, она музыкант – прекрасно наученный, с маленькой тайной, о наличии польского друга, кажется, знают все. И даже если у нее появятся дети и муж – должны появиться, куда же без них? – хотя при такой сосредоточенности на игре, на штрихах, интонации, можно и правда остаться одной – так вот, даже им она не раскроет тайну. Улыбнется, не станет рассказывать, да никто и не спросит ее ни о чем.

Дача, дом на Оке. Примерно месяц в году это большая река. По утрам она ходит смотреть на разлив: на желтоватую воду, на торчащие из воды прутьики. Удивительно, с каким постоянством ежегодно воспроизводится эта жалкая красота.

– Как Ока? – спрашивает приятельница, только проснулась. Позаниматься приехала, у нее осложнения: конкурс надо сыграть в оркестр, чтоб не выперли. – Может, для смеха вспомнить Сибелиуса?

Очень вышла из формы с окончания консерватории. Кладет инструмент:

– А давай выпишем Рому с Виталиком, как ты думаешь? Шашлычков поедим, поговорим за жизнь. Можешь с Ромой меня положить, а можешь с Виталиком. Тебе кто больше нравится?

Очень заманчиво, но, увы. Должен явиться один человек...

– Польский друг? Я смотрю, это серьезно у вас.

Да уж, серьезнее некуда.

– Надо, выходит, и мне отчаливать. Не хочется твоему счастью мешать.

– Доброе у тебя сердце, – скажет она приятельнице на прощание.

– А ума нет совсем, – засмеется та.

Приятельница уедет, а она в тот день будет смотреть на весеннее небо и на деревья. Поиграет не много, но хорошо: навыки, приобретенные в ранней молодости, не теряются. Еще, конечно, умение слушать себя.

Предложения, аналогичные этому, с шашлычками, с Ромой-Виталиком, часто к ней поступают в поездках – там легко образуются связи, которые трудно потом развязать. Но не в одних лишь делах практических выручает ее польский друг. И не то что она забудет, что он – только выдумка для приятельниц, пограничников, или, скажем, заинтересуется польской культурой как-то особенно, или станет учить язык: поляки, которых ей придется встречать, и правда окажутся с гонором. Да и виза польская давным-давно кончится. Евросоюз, Шенгенское соглашение – кто знает, что с этим Евросоюзом произойдет?

Человек разумный не верит фантазиям, но то, о чем говорят десятилетиями, тем более шепотом, приобретает важнейшее свойство – быть. Так легенды – семейные и общенациональные – начинают если не исцелять, то, во всяком случае, утешать. Лет с сорока (ее лет) польский друг станет ей иногда сниться, а верней – грезиться. Ни имени, ни голоса, ни лица, так – что-то неопределимо-приятное. Утром, незадолго до пробуждения. Если польский друг появляется накануне важных концертов, значит, все пройдет хорошо.

С годами количество этих самых концертов несколько снизится, зато станет больше учеников. Педагогический дар у нее не такой мощный, как у профессора, да и детей она предпочитает хвалить. И хотя в похвалах ее есть оттенки, и очень существенные, слез в ее классе проливается меньше, чем во времена Кати и Додика. Все равно какой-то уровень влажности неизбежен, даже необходим.

К окончанию нашей истории музыкальный мир вряд ли сильно расширится. С миром взрослым, миром производительных сил и производственных отношений, музыка будет вести все то же параллельное существование. Немолодая уже женщина, она опять прилетает в западноевропейский город – тот, с которого все началось. Фестиваль камерной музыки, очень привлекательный вид музицирования и для участников, и для слушателей: уютный зал, всегда полный, программа отличная – счастье, когда зовут в такие места.

Сохранятся ли через тридцать лет бумажные ноты? – и без них много всего надо везти с собой: скрипку, смычки, канифоль, струны, одежду концертную. Польский друг не объявлялся давно, но размышлять о нем некогда, на сцену приходится выходить каждый день. Все играет с одной репетиции, максимум с двух, без ущерба для качества – настолько высок уровень исполнителей. Утром порепетировать, днем отдохнуть, вечером посмотреть на партнеров, одного или нескольких, кивнуть: с Богом, вытереть руки платком перед самым выходом – и сыграть.

Дело идет к развязке, последний день. Трио с валторной, то самое, наконец-то она сыграет его, да еще заключительным номером. И валторнист изумительный, так говорят – она его раньше не слышала.

Что-то он, однако, опаздывает на репетицию. Они с пианистом, рыжим стареющим мальчиком, давно ей знакомым, посматривают свои партии, ждут. Наконец дверь отворяет некто с альтом: их разве не предупредили? – все сдвинулось. – А валторнист? – Съел вчера что-то несвежее, но к концерту поправится. Валторнисты любят поесть, им это требуется для вдохновения, для дыхания.

Альтист улыбается. Его вызвали только с утра, но он эту музыку знает, всегда мечтал поиграть в их компании, надеется никого не разочаровать. Впрочем, он и нужен только для репетиции. Высокий, немножко седой – ладно, не время разглядывать, уже задержались на час.

Начинают играть. Очень скоро оказывается, что эту музыку она себе представляла именно так. С конца первой части в ней поднимается радость, особенная, из каких-то неизвестных отделов души, ничего похожего прежде не было. Надо следить за музыкой, не за радостью, слушать себя и других, но радость присутствует и растет.

Музыка имеет дело с едва различимыми длительностями. Ритм, даже не ритм – метр, биение пульса, самое трудное – добиться того, чтобы был одинаковый пульс. Остальное – громче-тише, штрихи – поправить было бы проще, но и тут ничего поправлять не требуется: хорошо у них получается, прямо-таки пугающе хорошо.

В звуке альты много страсти, тепла, желания поговорить о важном, о главном, узнать про нее, о себе рассказать. Скрипка ему отвечает:

– Смотри на деревья и небо и меньше думай о важном, – приблизительно так.

Доиграли, выдохнули. Пианист подает голос:

– Там, где трели, я не очень мешал?

Нет, он вообще не мешал.

– Между прочим, у меня в этом месте соло. Можно, наверное, повторить?

Они переглядываются – альт и она: можно, но мы не станем этого делать, лучше уже не получится.

Немец польского происхождения. Всю свою жизнь он провел в этом городе. И ее видел, девочкой, на прослушивании в школе музыки, он тогда тоже на скрипке играл. Подойти не решился. Дела у него обстояли неважно, пока не перешел на альт. Теперь в здешнем оркестре работает. Здесь приличный оркестр. А играла она замечательно, чисто и выразительно, он всю программу ее может назвать.

Руки у него большие, красивые, круглые, и, как у нее, до крови содрана кожа возле ногтей, надо же – даже невроз у них одинаковый. Он провожает ее до гостиницы и говорит, говорит. Он придет ее слушать вечером, а после концерта... После концерта имеет честь...

Никогда не знала, где сердце находится. В горле, вот оно где.

Проводил, поклонился, ушел. Стало быть, он... вон он какой. Мысли беспомощные, бессвязные. Вечером, после концерта... Радость, где радость? Куда-то ушла.

Она сидит на кровати, замком от футляра щелкает. Польский друг, польский друг. Значит, мечта сбылась? Что-то сердце не успокаивается.

Вдруг: где смычок? Ужас, смычок посеяла! Вспотевшая, красная, мчится в зал, в котором они репетировали, лишь бы не встретить ЕГО, понятно кого, не сразу находит нужную дверь, все у нее разлетается в стороны.

Приходилось ей всякие мелкие вещи терять – ключи, украшения, тот же паспорт, и даже крупные – чемоданы, например, пропадали, и не один раз, но смычок – такого еще в ее жизни не было. Слава Богу, нашла, на рояле лежал.

Все на месте, казалось бы. Не зная зачем, она звонит организаторам. Чего уж там? – страшно, страшно ей.

– О, – организаторы рады, – как раз собирались на вас выходить. Валторнист совершенно оправился. Посмотрите с ним текст, пожалуйста, уделите ему часок.

– Нет, – она едва сдерживается, чтобы не плакать. – Невозможно, нельзя!

Она знает, она сама выбрала, но меньше всего ей хочется играть именно эту музыку. Что-то она произносит, противореча себе: про то, что дома дела, что разболелось плечо. Зачем они говорят про контрактные обязательства? Ни один номер не отменялся из-за нее, никогда, правда ведь? Она просит их вызвать водителя, пусть дадут ей уехать тихо, придумают что-нибудь.

И только по дороге в аэропорт чуть-чуть успокаивается. “Одной любви музыка уступает”, вертится в голове. Кто, кому тут и что уступил?

В самолете она сядет у окна: деревьев, конечно, не видно, зато неба – хоть отбавляй. Вернется домой – Бог знает, как страна ее будет к тому времени называться. Мы, впрочем, говорили уже о стране.

Спустя день или два войдет в класс, посмотрит на ученицу, скажет:

– Ну, что ты стоишь? Играй.

июнь 2013 г.

Кейп-Код Повесть

1

Куда повезти девушку, если денег нет? – конечно, на океан.

Подбирали камушки, швыряли их в воду. У Алеши они отскакивали, прыгали по воде, а Шурочка, как ни старалась, не могла повторить его фокус, у нее камушки тонули сразу. Она досадовала – разумеется, не всерьез.

Обоим по двадцать четыре, оба впервые в Америке, вообще в первый раз выехали из страны: год – восемьдесят девятый, выездные визы, меняют по шестьсот с чем-то долларов. Алеша и Шурочка живут в Москве и к тому, что творится у них на родине, относятся одинаково.

Шурочка – юный генетик, хорошая школа, биологический класс, потом биофак, у Алеши – скромнее. Школа тоже очень хорошая, но потом – “Керосинка”, нефтегазовый институт: полукровок даже с русским именем и фамилией в начале восьмидесятых не брали на мехмат МГУ.

У Шурочки ровно-приподнятое настроение, по большей части она улыбается. Алеша, напротив, имеет плаксивый вид, бровки домиком. Ничего, ей он кажется трогательным.

Познакомились не где-нибудь – в Гарварде, возле библиотеки, позавчера. А сегодня он берет у приятеля машину и привозит Шурочку на Кейп-Код: Тресковым мысом называют его только редкие чудачки вроде Алешиного отца. Откуда тому, однако, знать про Кейп-Код? – в “Брокгаузе и Ефроне” про него не написано.

Ситуация ясная: вчерашние дети, культурные, симпатичные, встречаются за границей, в прекрасной стране. Она – генетик, у него – гены, по материнской линии Алеша родственник известного композитора. У Шурочки большая семья, с живыми родителями, с дядями-тетями, да и здесь она – в более выигрышной ситуации (какой-то маленький к ней интерес в Гарварде, приняли тезисы на конференцию), Алеша – к другу приехал в гости. Таких путешественников, как он, называют здесь пылесосами.

Алеша вожделеет Шурочку, он увлечен, она про себя еще ничего не решила. У Шурочки, кстати, чуть больше опыта: она короткое время за однокурсником замужем была. У Алеши тоже, естественно, какой-то любовный опыт имеется. Но эта история – не о любви.

Так они и стоят у воды, пока Шурочка не придумывает развлечение: давать необычным камням имена лермонтовских героев.

Черная, длинная, тонкая – Бэла, вычурный, пестрый – Грушницкий, парочка светлых полупрозрачных камушков – княжна Мери с мамашей, с княгиней, как там ее?

– А это что за булыжник? – спрашивает она.

– Осетин-извозчик.

Шурочке он тоже со школы помнится. Пример использования дефиса.

Максим Максимыч – круглый, немножко рябой. По его поводу споров не было. Вытащили из воды безымянную русалочку из Тамани – для каждого, кого вспомнили, подобрали камушек: для Вернера, и для Веры, и для поручика Вулича, только для Печорина ничего подходящего не нашлось. В самом деле: какой он, Печорин? Много камней полетело в воду, так и не остановились ни на одном.

Была ли Шурочка влюблена в Печорина? – Конечно, лет в тринадцать – четырнадцать. – Вот еще, нашел к кому ревновать.

Общественные куски берега сменяются частными территориями, усыпанными такой же галькой вперемешку с песком, – почти безлюдно, но все же встречается кое-кто: симпатичные люди, с собаками, книгами. Чудесное место Кейп-Код: слева – аккуратные, не пугающие роскошью домики, впереди, сколько видит глаз, – череда пляжей, справа – холодноватый спокойный Атлантический океан.

Тут бы жить, да? Это даже не произносится.

Воздух теплый, вода прохладная, никто не купается, а они – когда еще выберутся? – и вот уже оба в воде. Алеша отлично плавает, но ни движение, ни холод не уменьшают его желания, он подплывает к Шурочке, которая стоит на отмели, прижимается к ней, и Шурочка подчиняется: сначала от удивления перед его активностью, вообще – перед внезапно открывшимися возможностями, а потом – он ей тоже мил. Америка чопорная страна, но мальчик с девочкой в обнимку недалеко от берега вполне укладываются в рамки принятого, да и вода не настолько прозрачна, чтоб уследить, что делается под ней.

Потом они доплывают до берега. Начинает темнеть, но Шурочка замечает, какой у Алеши довольный вид. Сама она несколько удивлена случившимся. Освобождения нравов у них на родине еще не произошло, во всяком случае в их среде. Но они не на родине. Переодеться, забрать Максима Максимыча и прочих деятелей – и назад, в Бруклайн. Пока дошли до машины, небо стало темное, низкое.

Она у тети живет, он – у приятеля, Лаврика, по московским меркам недалеко. Бруклайн – пригород Бостона, фактически его часть. Алеша рассказывает, как он летел в Нью-Йорк. Самолет был пустой – никто билетов не смог достать, идиотская ситуация, идиотское у них с Шурочкой государство. Вот, угораздило. В Нью-Йорке от сорок какой-то улицы до автобусной станции – несколько жутких кварталов: проститутки, наркотики, порнография, видела? – Нет, за ней тетя приехала в аэропорт. – А он повидал кое-что. Даже подумал: как фамилия мордастого дядьки такого, из телевизора? – может, он был не особенно и неправ, когда расписывал здешние ужасы? – Она не смотрит политику. Зато у нее здоровенный негр на улице попросил мороженое лизнуть, когда она сказала, что денег нет. – А у него, у Алеши, и телевизора не было, пока мама была жива.

Разговор меняет свое направление: мамы нет, грусть. – Да, единственный живой его родственник – это отец, но тому уже скоро семьдесят. А дед его – представляешь? – родился в последние годы царствования Николая Первого. У них в семье принято поздно рожать детей, пропускать одно поколение. Но никто, конечно, не обижается: могли и совсем не родить. Пусть лучше Шурочка скажет: хочется ей перебраться сюда? Ему хочется. – Ей тоже, как всякому нормальному человеку, естественно.

Они сидят в машине перед тетиным домом. У него от разницы часовых поясов начинают слипаться глаза. – Здесь так хорошо... – Да, очень, и незачем – как это? – рефлексировать, рефлексировать.

“Ребята, в каком вы живете дерьме!” – скажет Лаврик в первый их общий с Алешей американский день, когда выслушает его новости.

Было их трое друзей: Алеша, Лаврик и Родион. Лаврик уехал, вырвался, сразу, как стало можно, и уже в состоянии в гости позвать, и зовет – обоих оставшихся, но Родион ехать не захотел. Неуютно Алеше у Лаврика: тот его наставляет по мелким поводам, счета сводит, московские, школьные. А у Алеши с собой – шестьсот с чем-то долларов, на которые надо, как говорится, поездку еще оправдать. И недавно умерла мать. Не так уж недавно – год, но это когда не твоя мать, то кажется, что давно. При всем том приходится быть благодарным: за еду, за жилье, за то, что машину дал покатать девушку. Противное ощущение, будто ты своим

другом пользуешься. А поездку он оправдал: с отцом, а потом и с Шурочкой они несколько месяцев жили на то, что Алеша привез. Очень, надо сказать, тогда не хватало денег всем участникам этой истории. Кроме, вероятно, Алешиного отца.

Вот Лаврик: перебивается какими-то курса ми программирования, а живет в основном на выигрыши в казино. Нацепляет дорогие часы (вернее, их имитацию) и в компании русских, таких же, как он, едет куда-то вдаль. Ничего сложного: карты надо считать, которые вышли, и получаешь маленькое преимущество. И запомнить простые правила: когда прикупать, когда нет, когда увеличивать ставки или, наоборот, выходить из игры. Не гадать, не стараться что-то почувствовать. На эту тему и книги есть. Но это, конечно, не очень надежный заработок – таких игроков уже выгоняют из казино.

Комнатка-студия Лаврика, они за столом, одновременно кухонным и письменным, едят разведенную кипятком лапшу, и Лаврик, склонившись над ней (большие уши, маленькая голова), объясняет про биржу, про акции. Рынок ценных бумаг – самое сейчас перспективное. Все бросились на поиск стратегии, дающей стабильный успех.

Алеша хмыкает:

– Философский камень, да? Изю всего подряд добывать золото?

Лаврик просит его не выпендриваться, не кривить рот. Тут серьезные вещи – статистика, теория вероятности, линейная алгебра. Это вам не алхимия. Линейную алгебру Лаврик упоминает с некоторой осторожностью: в математике, как в спорте, в музыке, все знают, кто чего стоит, со школьных времен.

Шурочка улетает в Москву на день раньше него. Под руководством тети она упаковывает багаж, Алеша его помогает взвешивать: каждый фунт имеет значение. Тайно от тети она рассовывает по закоулкам чемодана камушки – Бэлу и Казбича, Вернера с Верой, княгиню с княжной – всю компанию.

Алеша просит:

– Дай и мне что-нибудь.

– Забирай осетина-извозчика.

Шурочка улыбается – белые зубы, черные волосы. Массу всего увозит она из Америки – подарки, бумаги на грант по генетике, видеоманитофон. И в виде бластулы или гастролы (ранние стадии развития зародыша) – будущего сына Лео, зачатого в холодных водах Атлантического океана. Возможно, Лео образовался несколькими днями позже, в Бруклайне, пока Лаврик отсутствовал, но Шурочка склоняется в пользу морской, романтической версии. Ей лучше знать.

В Москве – сильное общественное напряжение, восемьдесят девятый год, люди узнают много разнообразной правды. От мелкого, частного внимание переключено на гражданское, общее. Надо спешить, и они, Шурочка и Алеша, без усилий соединяют две свои жизни. Даже вопрос о том, где им следует поселиться – с ее ли родителями или у Алеши с отцом, – не слишком серьезен: жить надо в Соединенных Штатах Америки.

Вероятно, пока что разумнее было бы ей перебраться к Алеше: большая квартира, есть комната его мамы, правда, сильно заставленная – половину ее занимает рояль, на нем вроде бы играл Скрябин, но, во-первых, – подъезд, в котором ужасный запах (неужели Алеша не чувствует?), а во-вторых, есть отец, не заинтересованный в появлении рядом с собой еще чьих-то жизней.

Мамина смерть не сблизила Алешу с отцом. Она умирала долго: почти пять лет. Комната завалена книгами и пластинками – по мере прогрессирования болезни их количество бесконтрольно росло. Следовало бы выкинуть то, что никто уже не послушает, не прочтет, но кто это сделает? Сохранить ценные книги, того же “Брокгауза” – мало в каком доме есть

полный комплект, – а все лишнее продать или выбросить. Но отец перестал замечать этот рост предметов вокруг себя – рост предметов одновременно с исчезновением людей. Уволился со всех работ, отказался от частных уроков и полностью занялся учебником по гармонии – отец его пишет столько, сколько Алеша помнит себя.

Днем и ночью у отца в комнате бубнит радио – “Немецкая волна”, Би-би-си – их перестали глушить, но отец как будто не слышит приемника. Во всяком случае, не обращает на него внимания. Отец занят учебником.

– Во всех этих строгих правилах про удвоения и задержания есть своя красота, – рассказывает Алеша Шурочке, и та кивает, подробней не спрашивает – и к лучшему, ему трудно было бы объяснить, что это за такие правила. Дальше элементарной теории музыки он не продвинулся, да и ту позабыл.

Музыку Алеша бросил, когда ему было четырнадцать лет. Родители спросили, чего ему не хватает для счастья, он честно сказал. Вероятно, и данных не было, иначе они бы не позволили так поступить. Никакого счастья все равно не последовало.

– Учебник будет совсем другой, чем те, которые есть, – продолжает Алеша. Надо, чтоб Шурочка уважала отца. – Студенты решают задачи, но они не похожи на музыку. – Вот, он вспомнил, как говорил отец: – Надо изучать одного композитора, другого, что один бы сделал с мелодией, что другой. Гармонизовать ее в стилях разных эпох, направлений. Понимаешь, да?

Шурочка понимает, но им невозможно жить вместе с его отцом. Она не противница быта, нет, несмотря на молодость она умеет создать уют. Но находиться в квартире, где пахнет всем: плесенью, мусоропроводом, вчерашней едой, – неприятно и бесполезно ни будущему ребенку, ни Алеше, ни ей.

– Если б ты мог с ним поговорить...

О чем? О том, что надо дать место для новой жизни? Пожилого человека не изменить. К тому же такого нетривиального. Алеша пробует вспомнить, когда они последний раз разговаривали с отцом всерьез. Наверное, перед Алешиным поступлением. Дома было уже так тяжело, что хоть отправляйся в армию.

Ходили слухи (затем подтвердившиеся), что после первого курса мальчиков всех поголовно и заберут – тогда отправляли в Афганистан. Отец нашел пожилого врача-нефролога, та поставила Алеше диагноз, научила, как комиссию обмануть.

– Боишься, что меня там убьют?

– Не только, – ответил отец.

Он не хочет, чтобы Алеша стрелял в людей. На каждого погибшего солдата и офицера в Афганистане приходится чуть ли не сотня убитых жителей – “голоса” отец в то время слушал внимательно.

– Разве это война? Геноцид, резня, карательная операция, как угодно. Должен сказать, Алеша, в моей жизни было много грустного, даже стыдного, как почти у каждого человека, в особенности советского. Но в подобных вещах мы не станем участвовать.

Вот такой разговор.

А теперь Алеша с отцом ведут почти бессловесное совместное существование. У одного молодая жена и планы уехать в Америку, у другого – понятно что: неопытная старость, нескончаемый учебник гармонии.

В первый вечер после Алешиного возвращения они сидели втроем на кухне: он, отец, Родион. Алеша не выдержал:

– Вы бы знали, в каком мы дерьме... – разморило его от вина и от того, что не выспался.

– А мы всё ждем, когда ты нам это выскажешь, – засмеялся Родион своим наполовину беззубым ртом.